

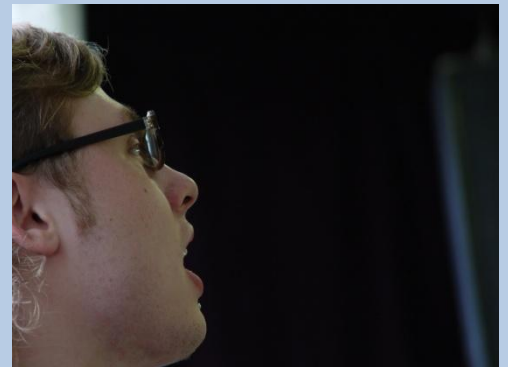
Творческий метод Лавренчука

(продолжение)



Весь спектакль похож на некую инерционно существующую систему: кто и когда, почему и зачем завел этот малопонятный механизм - не важно, да и не очень интересно. Существенна здесь, пожалуй, лишь картина того, как чья-то жизнь, неизвестно почему возникшая, не может иссякнуть, отнимая последние физические и душевные силы. Зрители, в лучшем случае, с экскурсивным любопытством воспринимают оттенки до недавнего времени недоступного смысла чувств глубоких, нередко мощных, но пугающе темных и гнетущих. Бездны тайных желаний и острых провокаций зачастую побеждают в наивной борьбе героев с самими собой. Их незащитность перед порывами духа претендует на поэтичность, но все же чревата непониманием. Зритель втайне готов ему

сочувствовать, но истинную природу переживаемых героями страстей осознать не в силах. Очевидно, чувствуя неизбежные сложности взаимоотношений со зрителями, режиссер пытается представить в качестве сверхценной сути своих спектаклей саму загадочность, неизъяснимость "альтернативных" отношений героев. Зритель бывает этим нередко раздосадован и раздражен. Таинственно-приглушенная, обманчиво-спокойная речь актеров. Плавные движения, как при



замедленной киносъемке. И постоянная угроза взрыва - крика, отчаянного жеста, скандала. Тишина и взрыв. Покой и полет. Геометрически рассчитанная, с балетной точностью зафиксированная мизансцена.

Именно так начинается первый спектакль возрожденного «Польского Театра в Москве», по драме польского драматурга-символиста Станислава Пшибышевского «Снег». Это почерк Евгения Лавренчука, молодого режиссера, собственно говоря, и сделавшего новый. Откуда же пришел этот стиль? Почему-то хочется искать его истоки не в смене школ и традиций, а в экспрессивном облике нынешней жизни, в самом стиле поведения наших современников. Правдоподобие не волнует Лавренчука с его категорической установкой на вечность:



его «золотой ключик» и тысячи отмычек раскрывают атмосферу пьесы, аранжируя ее причудливым орнаментом характеров, костюмов, мелодий, пауз, интонаций. В этом — часть тайны режиссуры, личности и судьбы театрального кудесника и одновременно опасность поверхностного восприятия его труда. Если зритель не почувствовал на спектакле, что Лавренчук и его команда — хронические романтики, значит, он зря пришел в этот театр.

Не ощущать атмосферы подмостков Лавренчука — значит, не понимать зыбкой поэтической, нежнейшей сути творимого им действия. Дерзкая шутка соседствует в его постановке с трагическим безмолвием, вызывающий жест — с пластическими откровениями мемориальной силы. Режиссер неудержим в стремлении обнажить раны (и красоту!), порок (и его двойник — святость!). Лавренчук играет человеческим телом, словно где-то подслушал, что анатомия — это судьба. Его театр свято верит в вечные красоту тела и духа, он принципиально ориентирован на идеал, а не на иллюзию.

В согласии с обычаями сентиментализма, любовь у него оказывается поверженной. Но если бы она всегда побеждала, то откуда взялись бы войны, убийства, терроризм, фанатичная, смертоносная ненависть?! Чудовищно оскорбительная для обывателя стихия Лавренчука — горячий след в зыбком и плоском мире. Зыбкость, неустойчивость — и есть самое стабильное в его творчестве. Что ни говори, а это - театр, от которого и остается-то, в сущности, только эмоциональная память, а значит, в нем непременно Должны присутствовать сильные, захватывающие эмоции. Лавренчук умеет это делать, умеет добиваться того, чтобы сцена доставляла зрителю волнующую, почти что чувственную радость. Что, согласитесь, совсем немало для нашего зачумленного времени.

С. Лавский